

УДК 821.161.1-1:821.161.1(Пушкин А. С.)  
ББК ШЗЗ(2Рос=Рус)5-8,7+ШЗЗ(2Рос=Рус)6-45 ГСНТИ 17.07.29

Код ВАК 10.01.01

У. Ю. Верина  
Минск, Беларусь

## ДУЭЛЬ И СМЕРТЬ ПУШКИНА В РУССКОЙ ПОЭЗИИ XX в.<sup>1</sup>

**Аннотация.** Статья посвящена одному из аспектов пушкинского мифа: дуэли и смерти Пушкина в отражении русской поэзии XX в. В работе использовано сопоставление фактической и художественной интерпретаций (на примере стихотворений Э. Багрицкого, В. Набокова и др.); реконструкция представления об обреченности поэта в стилистике диптиха М. Цветаевой «Поэт и царь» и эссе «Мой Пушкин»; выявление «заказных» образов бессмертия и интернационализма Пушкина в стихах советских поэтов 1937 г.; анализ концепций смерти Пушкина как освобождения в стихах поэтов 1960-х гг. (Д. Самойлова, Б. Окуджавы). Были сопоставлены пути и способы мифологизации Пушкина в неподцензурной поэзии Б. Чичибабина и В. Блаженного. Созданный ими миф альтернативен официальному советскому, поскольку мыслит образ Пушкина в свете поэтической религиозности. Существующая в художественных мирах обоих поэтов противоречивость, сказавшаяся в создании ряда сниженных образов, выявила различие в их отношении к мотиву смерти поэта: у Б. Чичибабина этот мотив может реализоваться в сниженной стилистике, тогда как В. Блаженный следует цветаевской концепции трагической обреченности поэта, а потому всегда пишет о смерти поэта в высоком ключе. «Деканонизация» сюжета дуэли и смерти Д. А. Приговым направлена не на личность поэта, а на предшествующую мифологию. В работе выявлены следующие модусы художественного воплощения сюжета: идеологизация, обожествление, остранение, травестия, и все они реализуют мифотворческую стратегию. Исключение составляет лишь сонет В. Набокова «Смерть Пушкина» (1924), однако за пределами статьи остался обширный пласт русской поэзии, и вполне вероятно, что более широкий материал может дополнить и уточнить полученные результаты.

**Ключевые слова:** пушкинский миф, русская поэзия, поэтическое творчество, образ поэта, литературные сюжеты.

U. Ju. Verina  
Minsk, Belarus

## DUEL AND DEATH OF PUSHKIN IN RUSSIAN POETRY OF XXth CENTURY

**Abstract.** The article is devoted to such aspect of Pushkin's myth as duel and death of Pushkin in the reflection of Russian poetry of the XXth century. The paper used the comparison of actual and artistic interpretations (on the examples of poems by E. Bagritsky, V. Nabokov and others); reconstruction of the idea of a poet's impending doom in the style of the M. Tsvetaeva diptych «The Poet and the Tsar» and the essay «My Pushkin»; identification of «made-to-order» of immortality and internationalism of Pushkin images in the poems of Soviet poets of the 1937; analysis of the concept of Pushkin's death as a liberation in the verses of poets of the 1960s (D. Samojlov, B. Okudzhava). The ways and means of mythologizing of Pushkin in uncensored poetry of B. Chichibabin and V. Blazheny were compared. They created the myth that was alternative to the official Soviet, as thinks the image of Pushkin's poetry in the light of religion. The existing contradictory of art worlds of both poets revealed a difference in their attitude to the motif of the poet's death: B. Chichibabin can realize this motif in a reduced style, whereas V. Blazheny follows the Tsvetaeva's concept of tragic doom poet and because always he writes about the poet's death in a high key. «Decanonization» plot of the Pushkin's duel and death by D. A. Prigov does not focus on the personality of the poet but on the previous mythology. The paper identified the following modes of artistic expression of the plot: indoctrination, deification, estrangement, travesty, and all of them realize the myth-creating strategy. The only exception is a Nabokov's sonnet «Death of Pushkin» (1924), but outside of the article was a vast reservoir of Russian poetry, and it is likely that a wider material can complement and refine the results.

**Keywords:** Pushkin's myth, Russian poetry, poetry, image of the poet, literary plots.

История дуэли и смерти Пушкина составляет часть грандиозного пушкинского мифа. Отраженная во множестве частных свидетельств современников, научных исследований (зачастую далеко не бесстрастных), эта история, как и личность Пушкина, как и его творческое наследие, будучи мифологизированными, оказались универсальным материалом, способным обслуживать любую идеологию или художественное направление. Л. В. Зубова, исследуя «деконструированного» Пушкина, пишет: «Пушкин стал эмблемой всего чего угодно — в нем видят атеиста и православного, диссидента и державника, моралиста и эротомана, последователя и разрушителя традиций...». И заключает: «Культ Пушкина привел к тому, что его имя уже значительно отделено от текстов». А затем приводит и слова А. Битова о том, что

Пушкин — уже не имя собственное, а слово [Зубова 2000]. Вопросу, почему это произошло, и как миф о Пушкине функционировал в разные годы, посвящены объемные исследования. Мы рассмотрим одну из проекций мифа о дуэли и смерти Пушкина — произведения русской поэзии XX в., характерные именно с точки зрения воплощения черт этого мифа или создания собственного, демонстрирующие отношение к Пушкину определенной идеологической или индивидуально-авторской системы.

История гибели Пушкина, изначально сопряженная со слухами и сплетнями и во многом спровоцированная ими, после событий 27–29 января 1837 г. стала всеобщим достоянием, и продолжившееся в национальном масштабе обсуждение оказалось перед двумя возможностями: рассказывать историю о том, как погиб камер-юнкер, муж красивой придворной дамы, убитый иностранцем сомнительной репутации, всем задолжавший и исписавшийся поэт или — «солнце русской поэзии закатилось», прервался великий путь великого человека. Оба мо-

<sup>1</sup> Материал публикуется в рамках проекта «“Веселое имя: Пушкин”»: фестиваль с элементами научной школы», грант ФЦП «Русский язык — 2016-2020», соглашение № 16.W18.25.0007.

дуса способствовали дальнейшему превращению истории из частной во всеобщую.

Особенно активное пополнение корпуса мифогенных текстов происходило в связи с юбилеями, будучи частью «юбилейной ритуальной практики»: «Всякий ритуал, оживляя и воспроизводя содержание мифа, возвращает человека в ту самую “нуминозную зону”, которая неуничтожима рационализмом, позитивизмом и другими рациональными схемами мировоззрения» [Загидуллина 2001: 99]. В поэтической пушкиниане это отразилось в том, что рациональная, фактическая стороны истории дуэли и смерти не просто уступили место образности, что вполне органично поэтическому мышлению, но были заменены другими — художественно правдоподобными проекциями мифа.

Пушкинские годовщины отмечались и в Советской России, и в эмиграции, и в каждом случае Пушкин оказывался «своим». «Социологизирование» Пушкина в советской науке происходило с большим размахом. Появились монографии и статьи Б. Л. Модзалевского «Пушкин под тайным надзором» (1918, 3-е изд. 1925), В. Я. Брюсова «Пушкин и крепостное право (К 85-летию со дня смерти)» (1922), Д. Д. Благого «Классовое самосознание Пушкина. Введение в социологию творчества Пушкина» (1927). В 1928 г. П. Е. Щеголев «частично пересмотрел свою концепцию истории дуэли и смерти Пушкина» [Мейлах 1966: 133] и подправил (!) третье издание своей книги (первое вышло в 1916 г.). В эмиграции происходил подобный процесс: «Религиозными мыслителями, философами и публицистами написано множество программных статей о Пушкине: коллективными усилиями Л. Шестова, В. Ильина, И. Ильина, А. Карташева, П. Струве и др. поэту был присвоен статус Пророка, в нем увидели живое воплощение Святого Духа. Эмигрантские общественные деятели и политики П. Милюков, В. Маклаков, С. Франк охотно рассуждали о политическом аристократизме Пушкина, связывая с именем поэта свои надежды на воскрешение России как империи» [Блищ 2013: 11]).

Первая заметная волна поэтической пушкинианы XX в. поднялась в 1924 г., когда отмечалось 125-летие со дня рождения поэта. При всем стилевом разнообразии, еще заметном в советской поэзии 1920-х гг., стихи, посвященные Пушкину, отчетливо воплотили требования нового периода социалистического строительства. Еще в 1912 г. в манифесте «Пощечина общественному вкусу» русские футуристы, в их числе и В. Маяковский, заявляли о необходимости сбросить Пушкина с «Парохода Современности». «Ненужным» казался Пушкин и пролетарским поэтам, однако решительный поворот в отношении к классикам произошел в 1920 г., когда Ленин выступил с критикой Пролеткульта. В стихотворении 1924 г. «Юбилейное» Маяковский с новых, классовых позиций судит убийцу Пушкина:

Сукин сын Дантес!  
Великосветский шкода.  
Мы б его спросили:  
— А ваши кто родители?

Чем вы занимались  
до 17-го года? —  
Только этого Дантеса бы и видели  
[Маяковский, т. 1, 1987: 222].

Он обращается к поэту запросто, пишет о том, кто будет стоять между ними на полке на «Н», и таким образом продолжает традицию поэтических «Памятников». Памятник себе, Маяковский воздвигает и тут же взрывает:

Мне бы  
памятник при жизни  
полагается по чину.  
Заложил бы  
динамиту  
— ну-ка,  
дрызнь!  
Ненавижу  
всяческую мертвечину!  
Обожаю  
всяческую жизнь!  
[Маяковский, т. 1, 1987: 223].

Юбилейное стихотворение Э. Багрицкого воплотило замены фактической стороны истории дуэли и смерти Пушкина, вобрав все мифы, сконструированные идеологией к 1920-м гг. Это: представление о Дантесе как наемном убийце, который выполнял заказ, и на тот случай, если бы он промахнулся, в кустах сидели жандармы, готовые добить поэта; на самом Дантесе был пуленепробиваемый корсет, спасший ему жизнь. Версий было много, самой смелой творческой В. П. Старк назвал ту, которую миллионным тиражом опубликовала газета «Труд»: «...целая полоса была посвящена тому, что на место дуэли Пушкина Александр Христофорович Бенкендорф прислал жандармов, которые расстреляли Пушкина»<sup>1</sup>.

Э. Багрицкий описал дуэль соответственно:

...Случайный ветер не разгонит скуку,  
В пустынной хвое замирает край...  
...Наемника безжалостную руку  
Наводит на поэта Николай!  
Он здесь, жандарм! Он из-за хвои леса  
Следит — упорно, взведены ль курки,  
Глядят на узкий пистолет Дантеса  
Его тупые, скользкие зрачки  
[Багрицкий 1987: 125].

Э. Багрицкий совмещает историю Пушкина и современность. Борьба за становление нового строя становится мстью за смерть поэта, красноармеец мстит царизму:

И мне ли, выученному, как надо  
Писать стихи и из винтовки бить,  
Певца убийцам не найти награду,  
За кровь пролитую не отомстить?  
Я мстил за Пушкина под Перекопом,

<sup>1</sup> Вокруг Пушкина: К 175-летию со дня гибели поэта.  
URL: <http://www.svoboda.org/a/24474787.html>.

Я Пушкина через Урал пронес,  
 Я с Пушкиным шатался по окопам,  
 Покрытый вшами, голоден и бос.  
 И сердце колотилось безотчетно,  
 И вольный пламень в сердце закипал  
 И в свисте пуль за песней пулеметной  
 Я вдохновенно Пушкина читал!  
 Идут года дорогой неуклонной,  
 Клокочет в сердце песенный порыв...  
 ...Цветет весна — и Пушкин отомщенный  
 Все так же сладостно-вольнотлюбив  
 [Багрицкий 1987: 125–126].

Несмотря на то, что политики и философы эмиграции конструировали свой пушкинский миф, в поэзии эмиграции отношение к Пушкину было неоднозначным. Н. Л. Блищ отмечала, что «В. Ходасевич, М. Цветаева и В. Набоков оказались в той немногочисленной группе писателей, которым было близко блоковское понимание Пушкина как воплощения “тайной свободы” творчества» [Блищ 2013: 12]. Сонет В. Набокова «Смерть Пушкина» написан в 1924 г., который был «самым урожайным на признанные лирические шедевры Набокова» [Федотов 2014: 104], и «Смерть Пушкина» может быть включена в один тематический ряд с другими «щемяще-ностальгическими стихами о Петербурге», написанными в этом году: «Ленинград», триптих сонетов «Петербург». Но 1924 г. — это еще и «самый плодотворный в сонетном отношении» год [Федотов 2014: 233]. Тогда были написаны 9 из 28 сонетов Набокова, т.е. более трети. Эти 9 сонетов О. И. Федотова разделяет на три субцикла, два из которых «не вызывают сомнения, поскольку выделены... и даже соответствующим образом озаглавлены самим автором»: «Петербург. Три сонета» и «Три шахматных сонета». Третий же является результатом исследовательской циклизации и объединяет три «сюжетных сонета» «Автомобиль в горах», «Смерть Пушкина» и «Страну стихов» [Федотов 2014: 233–234]. Все три сюжета объединены, по наблюдению О. И. Федотова, темой поэтического полета.

В сонете «Смерть Пушкина» подчеркнута точно и бесстрастно даны факты, с которыми соседствуют метафоры вознесения. Если предпринять попытку отделить одно от другого, то получается любопытная картина.

Он первый подошел к барьеру; очи  
 так пристально горели, что Дантес  
 нажал курок. И был встревожен лес:  
 сыпучий снег, пугливый взмах сорочий...  
 [Набоков 2002: 282–283].

Дантес действительно стрелял первым, и этот выстрел оказался роковым. Следующая деталь — «Пробита печень» — не соответствует истории болезни Пушкина, достаточно подробно представленной в отчетах врачей и других свидетелей последних дней жизни поэта. Сам поэт вначале решил, что ранен в бедро, позже доктору Шольцу, первому осмотревшему раненого, Пушкин сказал: «...я чувствовал при выстреле сильный удар в бок и горячо

стрельнуло в поясницу...» («Записка доктора Шольца» [Щеголев 1987: 174]).

В первых рапортах о ранении Пушкина говорилось о ранении в грудь. Лермонтов в «Смерти поэта» использовал метафору «с свинцом в груди». Первые строки стихотворения Тютчева «Из чьей руки свинец смертельный / Поэту *сердце* растерзал?» (курсив наш. — У. В.)<sup>1</sup>. В сонете Набокова привлекает внимание деталь «печень». Своей «непоэтичностью» она претендует на фактически точную деталь, да и ранение Пушкина действительно было очень непоэтичным: нижняя часть живота, справа, пуля шла немного сверху вниз и, по предположению В. И. Даля, делавшего вскрытие, раздробила крестцовую кость и «засела где-нибудь поблизости» («Записка доктора В. И. Даля» [Щеголев 1987: 182]). В примечаниях к изданию стихотворений Набокова в серии «Библиотека поэта» сказано, что в стихотворении детали дуэли и двух предсмертных дней Пушкина воспроизведены Набоковым по книге П. Е. Щеголева [Набоков 2002: 585]. М. Э. Маликова ошибочно указала 1928 год издания, не обратив внимания на то, что стихотворение написано в 1924 г. Набоков мог опираться на более ранние редакции этой книги: первое издание вышло в 1916 г., второе — в 1917 г. Однако о повреждениях печени в отчетах, собранных П. Е. Щеголевым, не говорится.

Дальше Набоков снова фактографически точен:

...Мучился две ночи.  
 На ране — лед. В бреду своем он лез  
 по книжным полкам, — выше... до небес...  
 ах, выше!..

[Набоков 2002: 283]

В свете тематики поэтического полета деталь, связанная с бредом умирающего, может показаться метафорой, предвещающей заключительный мотив вознесения. Но это не совсем так. В. И. Даль записал: «Бодрый дух все еще сохранял могущество свое — изредка только полудремотное забвение на несколько секунд туманило мысли и душу. Тогда умирающий, несколько раз, подавал мне руку, сжимал ее и говорил: “Ну, подымай же меня, пойдем, да выше, выше — ну пойдем!” Опамятовавшись, сказал он мне: “Мне было пригрезилось, что я с тобой лезу вверх по этим книгам и полкам, высоко — и голова закружилась”...» («Записка доктора В. И. Даля» [Щеголев 1987: 181]). Можно видеть, как Набоков выстраивает стихотворение на сочетании сухих фактов и таких же

<sup>1</sup> Ср. характерную деталь, использованную М. Цветаевой в описании собственного мифа о дуэли и смерти Пушкина, поданного остранично, через детское восприятие, чтобы достоверность сразу стала не важна: «Дантес возненавидел Пушкина, потому что сам не мог писать стихи, и вызвал его на дуэль, то есть заманил на снег и там убил его из пистолета в живот. Так я трех лет твердо узнала, что у поэта есть живот, и, — вспоминая всех поэтов, с которыми когда-либо встречалась, — об этом *животе* поэта, который так часто не-сыт и в который Пушкин был убит, пеклась не меньше, чем о его душе... Нас этим выстрелом всех в живот ранили» [Цветаева, т. 2, 1980: 327].

правдоподобных, но заключающих в себе некий художественный потенциал. Таким было предсмертное видение поэта, позволившее Набокову добавить лишь два слова — «до небес», — чтобы факт стал художественной деталью. Так и далее:

...ах, выше!.. Пот блестел на лбу.

Короче, —  
он умирал: но долго от земли  
уйти не мог. «Приди же, Натали,  
да покорми моченою морошкой»...

И верный друг, и жизни пьяный пыл,  
и та рука с протянутою ложкой —  
отпало всё. И в небо он поплыл.

[Набоков 2002: 283]

Набоков разбивает строку и переносит в следующую слово «короче»: оно имеет разговорный, «деловой» оттенок, мол, и так сказано уже достаточно много, пора подводить итоги. Предсмертное желание Пушкина, — он попросил моченой морошки, когда в нем «оставалось жизни — только на  $\frac{3}{4}$  часа!» («Записка доктора В. И. Даля» [Щеголев 1987: 180]) — на наш взгляд, тоже один из тех фактов, которые, в своей подлинности, содержат больший смысл. Этот потенциал использует Набоков и в своем «точном» и бесстрастном повествовании переставляет факты местами: согласно запискам В. И. Даля, вначале Наталья Николаевна покормила умирающего ягодами, а уже потом Пушкин в бреду взбирался вверх по книжным полкам. Морошка в сонете Набокова, объединенная рифмой с «ложкой» — бытовой деталью предпоследней строки, — предваряет мотив вознесения, которому предшествует прощание со всем земным: «...отпало всё. И в небо он поплыл» (курсив наш. — У. В.). Все мирское и житейское.

Сонет датирован 8 июня 1924 г., т.е., вполне вероятно, связан с днем 125-летия поэта. И здесь заметим, что к этому юбилею Набоков пишет сонет о смерти Пушкина. Возможно, что и в выборе тематики, и в скупой, фактографически точной стилистике, как и в самой сонетной форме, и в мотиве вознесения Набоков противостоял советской поэтической пушкиниане. Противостоял по всем названным позициям. А кроме того, это редкое (и единственное в своем роде) стихотворение о последних днях Пушкина. В других стихах — и их подавляющее большинство — Пушкин был убит как бы мгновенно, поэты предпочли забыть о двух мучительных последних днях его жизни и, вероятно, именно потому, что культ, нуминозность противятся точности и детализации.

Образ Пушкина как жертвы царизма не был исключительно закреплен за советской поэзией. Еще в эмиграции, в 1931 г. в цикл «Стихов о Пушкине» М. Цветаевой вошел диптих «Поэт и царь». В первом стихотворении М. Цветаева выносит приговор: «Зорче взгляды! / Не забывай: / Певцоубийца / Царь Николай / Первый» [Цветаева, т. 1, 1980: 300]. Но здесь нет идеологии. Обращает на себя внимание это «лишнее» слово, вынесенное пятой строкой: «Первый». Акцент, пришедшийся на него, выделил слово,

заставил искать не прямое значение, которое, как нам кажется, таково: Николай стал первым царем, убившим поэта, и за ним пришли другие.

Смерть Пушкина сделала очевидным то, что поэту необходимо быть мертвым, чтобы быть признанным. Как пророческие стали восприниматься слова пушкинского Бориса Годунова: «Они любить умеют только мертвых». В свете этой формулы поэты XX в. взглянули и на собственную судьбу, и, обобщив ряд трагических судеб, — на судьбу поэта вообще. М. Цветаева в эссе «Мой Пушкин» писала: «Какой поэт из бывших и сущих *не* негр, и какого поэта *не* убили?» [Цветаева 1980, т. 2: 329].

К 100-летней годовщине смерти поэта, в 1937 г., также отмечавшейся и в Советской России, и в эмиграции, и с большим размахом, тема дуэли и смерти в стихах оказалась одной из самых частотных, много было написано и одических «памятников». В советских стихах дуэль и смерть трактовались, если определить в общем, так: Пушкина убил царь и Пушкин бессмертен. На первый план вышла вневременность Пушкина и идея его всемирности — близости разным народам. Утверждалась эта идея повсеместно и вопреки здравому смыслу. В. Шкловский оставил характерное свидетельство, описывая костюмированное шествие в Михайловском в 1937 г.: «...колхозники устроили маскарад на льду. Проходила Татьяна Ларина, надевшая ампирное платье на тулуп. У нее был такой рост, она была так красива, что выглядело это хорошо. Шли богатыри, царица-лебедь, в кибитке ехал с синей лентой через плечо бородастый крестьянин Емельян Пугачев, рядом с ним ехала сирота Маша Миронова — капитанская дочка. И за ними на тачанке, гремящей бубенцами, с Петью ехал, командуя пулеметом, Чапаев. Я спросил устроителя шествия — ведь про Чапаева Пушкин не писал? — А для нас это все одно, — ответил мне колхозник» [Шкловский 1985: 173].

Та же идея отражена в стихотворении Н. Рыленкова «Бессмертие» (1937), которое завершается так:

Ты плачешь? Друг, не нужно слез,  
Увидят дальние потомки,  
Что свет немеркнувший пронес  
Я сквозь ненастные потемки...

А Петроград уже шумел,  
И после Декабря впервые  
Спешили от вседневных дел  
Студенты и мастеровые.

Они заговорят в свой срок,  
Их брови сдвинуты сурово.  
Нет, нет! Ты не был одинок!  
В сердцах запечатлелось слово!

[Венок Пушкину 1974: 139].

Вневременность Пушкина выражена здесь в мгновенном переходе от смерти поэта к 1917 г., — и город словно бы сразу стал Петроградом, а из всех сословий остались «студенты и мастеровые».

Связь Пушкина с революцией, требуемая советским пушкинским мифом, иногда приобретала

комический оттенок. Как, например, в стихотворении поэта-песенника Александра Коваленкова «Путь на Черную речку», написанном в легком ча-стущечном ритме, наивно и просто:

Тот, кто жил, глаза не жмуря,  
Знал врагов и знал друзей,  
Тот, кто в непогодь и бурю  
Шел дорогою своей, —

Тот найдет в поэте друга  
И узнает (коль не знал),  
Почему в часы досуга  
Ленин Пушкина читал.

[Венок Пушкину 1974: 133]

Заказанное идеологией интернациональное значение Пушкина привело к появлению многочисленных переводных стихотворений. Написанные к 1937 г., опубликованные в газетах, они часто не публиковались позднее, кроме как в тематических сборниках. Собственно говоря, иногда вызывает сомнение и существование самих поэтов, массово написавших стихи о Пушкине в 1937 г. Хотя здесь, конечно, требуется специальное исследование. Переводы стихотворений осуществлялись с самых разных языков народов СССР: с бурятского, аварского, адыгейского, эвенкийского, финского, кабардинского и др. Однако поэты на *другом* языке использовали *общие* для советской поэзии приемы создания нового правдоподобия. Так, Тобиас Гуттари, советский финноязычный поэт, в стихотворении «Дуэль Пушкина» не придерживается исторической достоверности в описании поединка, здесь важно лишь, что Пушкин на дуэли — это солдат, борец с самодержавием:

Он поднял оружие и целится в сердце врагу.  
Кому из двоих суждено умереть на снегу? <...>

Он вышел на линию боя, один из солдат.  
Давно уже сном беспробудным товарищи спят... <...>

Но разве противник его — этот светский повеса?  
Он целится в самодержавие, а не в Дантеса!  
(пер. В. Потаповой)

[Венок Пушкину 1974: 129].

Новая волна стихотворений о бессмертии Пушкина и его мировом значении поднялась во время Второй мировой войны. В 1943 г. В. Инбер написала пронзительное стихотворение «Пушкин жив» о том, как человек под бомбами рисковал своей жизнью, чтобы спасти книги Пушкина. В записных книжках поэта С. Гудзенко есть стихотворение, написанное в Словакии в апреле 1945 г.:

После марша и ночной атаки  
нашу роту посетила грусть:  
нам под Банской Штявницей словаки  
Пушкина читали наизусть. <...>  
Но когда мы с Пушкиным вдали  
свиделись нежданно-негаданно,  
о чужбине песню завели,

и Россия встала из тумана.

[Венок Пушкину 1974: 151]

Похороны Пушкина также стали частью мифа. Как выразительная деталь поэтами было воспринято участие в траурных событиях жандармов. Князь Вяземский писал Великому князю Михаилу Павловичу: «В день, предшествовавший ночи, в которую назначен был вынос тела, в доме, где собралось человек десять друзей и близких Пушкина, чтобы отдать ему последний долг, в маленькой гостиной, где мы все находились, очутился целый корпус жандармов. Без преувеличения можно сказать, что у гроба собрались в большом количестве не друзья, а жандармы! Против кого была выставлена эта сила, весь этот военный парад? Я не касаюсь пикетов, расставленных около дома и на соседних улицах; тут могли выставить предлогом, что боялись толпы и беспорядка. Но чего могли опасаться с нашей стороны?» (цит. по [Щеголев 1987: 229]). Вряд ли власти всерьез опасались бунта, или, как писал Ю. М. Лотман, «стихийного изъяснения народных почестей телу поэта» [Лотман 1981: 250]. Скорее всего, они просто впервые столкнулись с таким массовым откликом: по разным свидетельствам у гроба Пушкина в его квартире побывали от 10 до 50 тысяч человек.

В приведенных словах Вяземского «корпус жандармов» — это преувеличение (корпус составляют 100 тыс. человек). А. И. Тургенев, который в дневнике отметил присутствие «жандармов, полиции, шпионов» при выносе тела поэта, назвал число 10 («всего 10 штук, а нас едва ли столько было!») [Пушкин в воспоминаниях современников 1985: 216].

Тело Пушкина было вынесено из церкви и отправлено в Святогорский монастырь ночью. А. И. Тургенев пишет: «...Перед гробом и мною скакал жандармский капитан» [Пушкин в воспоминаниях современников 1985: 217]. Он постоянно подчеркивает и даже выделяет восклицательными знаками присутствие жандарма («отправились мы — я и жандарм!! — опять в монастырь»). Однако нельзя сказать: «Пушкина хоронили жандармы», а ведь именно так в итоге оказался представленным в мифе эпизод похорон. Таким его восприняли/сконструировали поэты.

Во втором стихотворении диптиха М. Цветаевой царь и жандармы изображены «карикатурно гиперболически», и создается «гротескная картина», «намеренная какофония» [Эткинд 1998: 109]:

Нет, бил барабан перед смутным полком,  
Когда мы вождя хоронили:  
То зубы царёвы над мертвым певцом  
Почетную дробь выводили.

Такой уж почет, что ближайшим друзьям —  
Нет места. В изглавьи, в изножьях,  
И справа, и слева — ручищи по швам —  
Жандармские груди и рожи.

[Цветаева, т. 1, 1980: 301]

Несколько иной смысл приобрело участие царя и жандармов в гибели и похоронах Пушкина в стихах

советских поэтов 1960-х гг. В этот период те же, казалось бы, уже многократно повторенные образы стали символизировать вечную и неизбежную поднадзорность, несвободу поэта. Д. Самойлов стихотворение «Святогорский монастырь» 1968 г. начал словами:

Вот сюда везли жандармы  
Тело Пушкина (О, милость  
Государя!). Чтоб скорей,  
Чтоб скорей соединилось  
Тело Пушкина с душой  
И навек угомонилось.

[Самойлов 1990: 143]

Смерть Пушкина Д. Самойлов осмыслил не как трагедию, а как избавление: поэта — от высочайшего надзора, власти — от непокорного поэта:

Здесь, совсем недалеко  
От Михайловского сада.  
Мёртвым быть ему легко,  
Ибо жить нигде не надо.  
Слава богу, что конец  
Императорской приязни  
И что можно без боязни  
Ждать иных, грядущих дней.

[Самойлов 1990: 143]

Б. Окуджава этот поворот сделал основой стихотворения «Счастливчик Пушкин» (1967):

Александр Сергеечу хорошо!  
Ему прекрасно!  
Гудит мельничное колесо,  
боль угасла...

[Окуджава 2001: 302]

И воплотил в своем стихотворении не высокий, культовый, а обывательский пушкинский миф:

...жил в Одессе, бывал в Крыму,  
ездил в карете,  
деньги в долг давали ему  
до самой смерти. <...>

Он красивых женщин любил  
любовью не чинной,  
и даже убит он был  
красивым мужчиной.

[Окуджава 2001: 302]

Так о Пушкине мог бы рассказать светский сплетник — обыватель любой эпохи и любого возраста. Простодушие, с которым в стихотворении создается такой земной и понятный образ, это прием, аналогичный тому, который использовала М. Цветаева в эссе «Мой Пушкин», начиная с наивных детских представлений. Кажется, что Б. Окуджава противоречит советскому мифу, делая жандармов «почитателями» пушкинской поэзии, а царя — его добрым «приятелем», в то же время эти строфы откровенно «придуманы» и не встраиваются в ряд светской сплетни. Это подсвечивает их иным,

скрытым (словно от полицейского надзора) смыслом: жандармы «на память заучивали» стихи Пушкина не от любви к поэзии, а чтобы дословно передать в донос<sup>1</sup>, тогда ясно, зачем «царь приглашал его в дом, / желая при этом / потрепаться о том о сем / с *таким* поэтом» (курсив наш. — У. В.) [Окуджава 2001: 302]. То, что Б. Окуджава не снижает образ официально обожествленного Пушкина, а полемизирует с упрощенным суждением о нем, ясно из заключительных строк, когда вся такая легкая и благополучная жизнь поэта, его талант, о котором говорится «умел бумагу марать», оказываются зачеркнуты гибелью. Между Черной речкой и легкомысленным весельем невозможен знак равенства: «Ему было *за что* умирать / у Черной речки» (курсив наш. — У. В.) [Окуджава 2001: 302].

В неподцензурной поэзии — Б. Чичибабина и В. Блаженного — сложился свой культ Пушкина. Интересно отметить, в чем отличие его от официального советского, а также сопоставить подходы Б. Чичибабина и В. Блаженного между собой. Поэма Б. Чичибабина «Пушкин» — это большое художественное полотно, синтезировавшее мотивы, в связи с которыми образ Пушкина выступал и в лирике Б. Чичибабина. Отметим лишь два момента: 1) обреченность Пушкина встраивается в ряд, который можно назвать «характер человека — его судьба» (непокорный бунтарь не может спокойно и благополучно стареть), т.е. дело не в том, что он — поэт; 2) сравнение Пушкина с Иисусом:

Ему ль, кто знал сады Лицея  
и вод таврических родник,  
смирненно стариться, лысея  
и сплошь в отличьях наградных?  
Нет, он властям не пригодится,  
он чхать хотел на их устав,  
за честь возлюбленной восстав  
на пошляка и проходимца.  
Но если заговор молвы,  
а у мадонны ум коровы,  
боюсь, не сносит головы  
поюн — Боян негроголовый...  
На то и дан талант и вкус,  
чтоб спорить с временем упрямо.  
А он был ясен, как Иисус,  
с детьми играющий у храма.

[Чичибабин 2009]

Религиозная образность, важная составляющая поэтики Б. Чичибабина, участвует в обожествлении Пушкина, т.е. выходит в область нуминозного, однако становится и знаком отличия от советской поэзии, строившей свой миф на других идеологических основах. Два культа оказываются между собой в отношениях антитезы. И если в ранней советской поэзии

<sup>1</sup> В издании не приводится вариант строк о жандармах «Очень вежливы и тихи / службой замученные...». Напечатанный: «...делами замученные...», — смещает акцент. В первом случае жандармы все же учат стихи наизусть по долгу службы, во втором — в качестве отдыха, на досуге.

Пушкин был борцом с самодержавием и бойцом на дуэли, то в художественной религиозности Б. Чичибабина это «Божие дитя», не способное на насилие:

Сто раз к барьеру выходя  
под пули ветреного века,  
ни разу Божие дитя  
не выстрелило в человека.

[Чичибабин 2009]

Заметим, что, выстраивая свой миф, Б. Чичибабин так же, как и официальные поэты-мифотворцы, пренебрегает фактической историей дуэли, только занимает прямо противоположную позицию: ведь раненый Пушкин все же стрелял в Дантеса.

Обожествленным предстает Пушкин и в многочисленных стихах В. Блаженного. Сама ситуация дуэли, сочетаясь с цветаевским представлением о том, что все поэты обречены, превращает ее в трагедию космического масштаба, она расширена, символизирована и лишена конкретных черт: «Кто же дула на них из бездонного мрака направил, / Кто их жизни легко, как разбойник в лесу, порешил?.. / Не Дантес, не Мартынов стреляли в поэтов, а дьявол / Разрядил пистолет в поднебесных посланцев души» («Ты увидишь, как снег наматывает сугроб на опушке...», 1990). Слово осененные знаком пушкинской судьбы, в стихах В. Блаженного в одном общем ряду оказываются Лермонтов, Маяковский, Есенин, Гумилев, Цветаева, Блок, Мандельштам. Ни одной счастливой, безмятежной жизни, и в этом вполне можно увидеть проявление некоего высшего закона.

Однако в стихах Б. Чичибабина и В. Блаженного Пушкин далеко не всегда представлялся небожителем. Художественным мирам обоих поэтов свойственна не просто противоречивость, но полярность в размещении одних и тех же образов на ценностных границах либо самого верха, либо самого низа. К их числу принадлежит и образ Пушкина. Но здесь, несмотря на кажущуюся близость, Б. Чичибабин и В. Блаженный различны: их отличает отношение к смерти поэта, подверженное бунтарскому осмеянию у первого и неприкосновенное у второго. Парадоксально высоким и сниженным выступает образ Пушкина в стихотворении Б. Чичибабина «Ода русской водке»:

...Мы все когда-нибудь подохнем,  
быть может, трезвость и мудра, —  
а Бог наш — Пушкин пил с утра  
и пить советовал потомкам.  
(1963)

[Чичибабин 2009]

Однако здесь присутствует осмеяние смерти вообще, а вот в стихотворении «Поэты», написанном в частушечном ритме, в скomorошьей манере говорится об одиночестве, сумасшествии, смерти поэтов, Пушкина в том числе:

...Краем дальше, часом позже  
Китсу не пробиться:  
чуть взошел на поже Божьей —  
и не стало Китса. <...>

Как побитые пророки  
на всемирном рынке,  
были сроду одиноки  
Гёльдерлин и Рильке.

Не переть же к вышней цели  
сбродом, чохом, кошом.  
Вот и Пушкин на дуэли  
кем-то уокошен...

Это стихотворение написано в 1992 г., когда ниспровергались все авторитеты, и не только Пушкин мог быть сброшен с «Парохода Современности». В Блаженному критическое отношение к общепринятым ценностям было свойственно и прежде, и в его стихах о поэтах в разные годы звучали «домашние», простые или хулиганские интонации. Его отношение к Пушкину, выраженное в таких стихах, можно сравнить с цветаевским: «Пушкинскую руку / Жму, а не лижу». Но если он писал о смерти поэта (Пушкина или поэта вообще), художественное пространство разворачивалось вверх:

...Дантес был мертв, когда стрелял в поэта.  
Что имя дуэлянта? Звук пустой.  
С неслышанную в мире правотой  
Восходит Пушкин по ступеням света  
Всемирного...  
(1966)

...Когда умирают поэты, их плоть  
Кольшется в небе пургою цветочной,  
И запах цветов обоняет Господь,  
И свежие запахи душ непорочных...  
(1998)

Современная русская поэзия продолжает создание своей пушкинианы. Однако если сам Пушкин, образы его произведений и предшествующая мифология являются весьма продуктивными источниками, питающими современную поэзию, то сюжет дуэли и смерти в большей степени разрабатывается в изобразительном искусстве, в том числе, с 2010-х гг., в виде артов и интернет-мемов. В тематике и стилистике этих изображений заметно влияние «митьков», как по имени основателя Дмитрия Шагина называлось творческое движение художников, поэтов, музыкантов, возникшее в 1980-х гг. Свои произведения «митьки» посвящали развенчанию всяческих мифов, в том числе и связанных с Пушкиным. В живописных, графических, скульптурных работах участников движения воспроизводился сюжет «Митек спасает Пушкина», где человек в тельняшке и ушанке закрывает поэта от пули своим телом. «Митьки» создали собственную мифологию, в соответствии с которой сложился и определенный образ: митек должен быть добрым и жалостливым. Это качество как нельзя лучше реализовывалось в рамках мифа о спасении Пушкина, возникшего из суждений о том, можно ли было предотвратить дуэль. Это обсуждалось и непосредственными свидетелями событий 1837 г. И. Пущин, упр-

кая Данзаса, сказал: «Если бы я был рядом с Пушкиным во время дуэли, я заслонил бы его от пули». «Митьки» сделали из этого благородного порыва (точнее, из его мифологизации) юмористический сюжет, который, в свою очередь, породил ряд артов и мемов, где Пушкин представлен в образах героев современной массовой культуры. Травестирование мифа о бессмертии и вневременности Пушкина стало основой книги «Правда о Пушкине» И. Смирнова-Охтина с иллюстрациями Д. Шагина. По их художественной версии Пушкина на дуэли убил Гитлер. Он вызвал на дуэль еще Вознесенского и Евтушенко, но Вознесенский не поехал на дуэль, а Евтушенко нарочно ехал медленно, чтобы Пушкин на велосипеде его обогнал.

Так и в поэзии Д. А. Пригова демифологизируется не образ Пушкина, а именно миф о нем. Цитация в таком случае, как справедливо заметила Л. В. Зубова, «преимущественно травестийна, но не пародийна» [Зубова 2000], как, например, в «Большом лиро-эпическом описании в 97 строк»: «Здесь жили турки, генуэзцы / Татары, русские, мордва / Коринфцы и пелопонесцы / И вот сию здесь Пушкин я... / Я Пушкин Родину люблю / И Лермонтов ее люблю / А Пригов — я люблю их вместе / Хотя Лермонтова-то не очень...» [Пригов 1989]. В прозаической миниатюре «Звезда пленительная русской поэзии» Д. А. Пригов собрал несколько версий пушкинской дуэли, довел их до абсурда (хотя образ Пушкина-бойца требовалось всего лишь немного усилить контекстом, чтобы он стал смешным), сделал миф нелепым и тем самым ниспроверг:

«Посмотрел Пушкин на него даже с некоторой жалостью, взял свой револьвер, отошел и стал заряжать. И в то время, как он заряжал, стоя спиной к своим врагам, чтобы не смущать их, раздался выстрел, и пуля вошла прямо в сердце великого поэта.

Упал он, а племянник Геккерена, петляя, как заяц, начал убежать, а с ним и его приспешники. “Стой! — кричал Пушкин. — Стой!” Но те только пуще бросились бежать. Тогда прицелился Пушкин из последних сил и выстрелил.

Пробила пушкинская пуля стальной панцирь племянника Геккерена и уложила его на месте. Оставшимися пулями уложил умирающий поэт и пособников французского агента» [Пригов 1997].

В русской поэзии XX в. дуэль и смерть Пушкина предстают как мифологический сюжет. Его деканонизация, начатая в поэзии шестидесятников и продолжающаяся в начале XXI в., направлена не на свержение Пушкина с пьедестала, а на предшествующую мифологию и стереотипы массового восприятия. И идеологизация, и обожествление, и остранение, и травестия — все рассмотренные нами модусы реализуют мифотворческую стратегию. Из всех рассмотренных примеров подчеркнута немифогенность является лишь сонет В. Набокова, преобразующий документальные факты в художественное целое. Несмотря на то, что за пределами статьи остался огромный пласт русской поэзии, можно сказать, что набоковский эксперимент отделения деталей биографии Пушкина от всего остального огромного смыслового поля, с которым имя поэта слито, как

кажется, в единое целое («... Слово “Пушкин” / стихами обрастает, как плющом... / ...и сладостно звучна / вся жизнь его — от Делии лицейской / до выстрела в морозный день дуэли» [Набоков 2002: 341]), единственный в своем роде. Современные поэты проявляют интерес в большей степени к «манипуляции с пушкинскими текстами» [Зубова 2000], чем к его биографии, поскольку это значительно более широкое пространство для новых смыслов, тогда как сюжет дуэли и смерти очевидно «устал».

## ЛИТЕРАТУРА

*А. С. Пушкин в воспоминаниях современников*: в 2 т. / сост., подг. текста и коммент. В. Вацууро, М. Гиллельсона, Р. Иезуитовой, Я. Левкович. — М.: Худож. лит., 1985. — Т. 2. — 575 с. (Лит. мемуары).

*Багрицкий Э.* Стихотворения и поэмы / сост., вступ. ст. и прим. И. Л. Волгина. — М.: Правда, 1987. — 448 с.

*Блишч Н. Л.* А. М. Ремизов и русская литература XIX–XX вв.: рецепция, рефлексия, авторефлексия. — Минск: БГУ, 2013. — 191 с.

*Венок Пушкину* / сост., подг. текста и примеч. С. А. Небольсина. — М.: «Сов. Россия», 1974. — 208 с.

*Загидуллина М. В.* Пушкинский миф в конце XX века / Челяб. гос. ун-т. — Челябинск, 2001. — 245 с.

*Зубова Л. В.* Деконструированный Пушкин (Пушкин в поэзии постмодернизма) // Пушкинские чтения в Тарту 2. — Тарту, 2000. — С. 364–384. — Режим доступа: <http://www.ruthenia.ru/document/390753.html>.

*Лотман Ю. М.* Александр Сергеевич Пушкин. Биография писателя: пособие для учащихся. — Л.: Просвещение, 1981. — 255 с.

*Маяковский В. В.* Сочинения: в 2 т. / сост. А. Михайлова. — М.: Правда, 1987.

*Мейлах Б. С.* Основные этапы изучения Пушкина в советское время // Пушкин: Итоги и проблемы изучения. — М.; Л.: Наука, 1966. — С. 125–148.

*Набоков В. В.* Стихотворения / подг. текста, сост., вступ. статья и примеч. М. Э. Маликовой. — СПб.: Академический проект, 2002. «Новая Библиотека поэта».

*Пригов Д. А.* Большое лиро-эпическое описание в 97 строк // Третья модернизация. — 1989. — № 11. — Режим доступа: <http://emc2.me.uk/tm/n11/prigovs.html>.

*Пригов Д. А.* Написанное с 1975 по 1989. — М.: Новое литературное обозрение, 1997. — 280 с. — Режим доступа: <http://www.vavilon.ru/texts/prigov4-6.html>.

*Самойлов Д.* Избранные произведения: в 2 т. — М.: Худож. лит., 1990. — Т. 1. — 559 с.

*Федотов О. И.* Между Моцартом и Сальери (о поэтическом даре Набокова). — М.: Флинта: Наука, 2014. — 400 с.

*Цветаева М. И.* Сочинения: в 2 т. — М.: Худож. лит., 1980.

*Чичибабин Б.* Собрание стихотворений. — Харьков: «Фолио», 2009. — Режим доступа: <http://coolib.com/b/344223/read>.

*Шкловский В.* «Тише! Чапай думать будет!» <1964> // Шкловский В. За 60 лет. Работы о кино. — М., 1985.

*Эткинд Е. Г.* Материя стиха. — СПб.: Гуманитарный союз, 1998. — 506 с.

## REFERENCES

*A. S. Pushkin v vospominaniyakh sovremennikov*: v 2 t. / sost., podg. teksta i koment. V. Vatsuro, M. Gille'sona, R. Iezuitovoy, Ya. Levkovich. — M.: Khudozh. lit., 1985. — T. 2. — 575 s. (Lit. memuary).

*Bagritskiy E.* Stikhotvoreniya i poemy / sost., vstup. st. i prim. I. L. Volgina. — M.: Pravda, 1987. — 448 s.

*Blishch N. L.* A. M. Remizov i russkaya literatura XIX–XX vv.: retseptsiya, refleksiya, avtorefleksiya. — Minsk: BGU, 2013. — 191 s.



*Venok Pushkinu* / sost., podg. teksta i primech. S. A. Nebol'sina. — M.: «Sov. Rossiya», 1974. — 208 s.

*Zagidullina M. V.* Pushkinskiy mif v kontse XX veka / Chelyab. gos. un-t. — Chelyabinsk, 2001. — 245 s.

*Zubova L. V.* Dekonstruirovannyi Pushkin (Pushkin v poezii postmodernizma) // Pushkinskie chteniya v Tartu 2. — Tartu, 2000. — S. 364–384. — Rezhim dostupa: <http://www.ruthenia.ru/document/390753.html>.

*Lotman Yu. M.* Aleksandr Sergeevich Pushkin. Biografiya pisatelya: posobie dlya uchashchikhsya. — L.: Prosveshchenie, 1981. — 255 s.

*Mayakovskiy V. V.* Sochineniya: v 2 t. / sost. A. Mikhaylova. — M.: Pravda, 1987.

*Meylakh B. S.* Osnovnye etapy izucheniya Pushkina v sovetskoe vremya // Pushkin: Itogi i problemy izucheniya. — M.; L.: Nauka, 1966. — S. 125–148.

*Nabokov V. V.* Stikhotvoreniya / podg. teksta, sost., vstup. stat'ya i primech. M. E. Malikovoy. — SPb.: Akademicheskiy proekt, 2002. «Novaya Biblioteka poeta».

*Prigov D. A.* Bol'shoe liro-epicheskoe opisanie v 97 strok // Tret'ya modernizatsiya. — 1989. — № 11. — Rezhim dostupa: <http://emc2.me.uk/tm/n11/prigovs.html>.

*Prigov D. A.* Napisannoe s 1975 po 1989. — M.: Novoe literaturnoe obozrenie, 1997. — 280 s. — Rezhim dostupa: <http://www.vavilon.ru/texts/prigov4-6.html>.

*Samoylov D.* Izbrannye proizvedeniya: v 2 t. — M.: Khudozh. lit., 1990. — T. 1. — 559 s.

*Fedotov O. I.* Mezhdumotsartom i Sal'eri (o poeticheskom dare Nabokova). — M.: Flinta: Nauka, 2014. — 400 s.

*Tsvetaeva M. I.* Sochineniya: v 2 t. — M.: Khudozh. lit., 1980.

*Chichibabin B.* Sobranie stikhotvoreniy. — Khar'kov: «Folio», 2009. — Rezhim dostupa: <http://coollib.com/b/344223/read>.

*Shklovskiy V.* «Tishe! Chapay dumat' budet!» <1964> // Shklovskiy V. Za 60 let. Raboty o kino. — M., 1985.

*Etkind E. G.* Materiya stikha. — SPb.: Gumanitarnyy soyuz, 1998. — 506 s.

### Данные об авторе

Ульяна Юрьевна Верина — кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры русской литературы филологического факультета, Белорусский государственный университет (Минск).

Адрес: 220030, Республика Беларусь, г. Минск, ул. К. Маркса, 31.

E-mail: [verina14@rambler.ru](mailto:verina14@rambler.ru).

### About the author

Ulyana Yurievna Verina is a Candidate of Philology, Docent of the Department of Russian Literature of Belarusian State University (Minsk, Belarus).